ФРОНТОВАЯ СУДЬБА Александра Солженицына



Людмила Ивановна Сараскина,
писатель, биограф А.И. Солженицына

Наконец грянуло то, к чему они, юноши 1917–1918 годов рождения, всегда готовились: появлялся шанс исправить невезение тех, кто родился после Октября. «А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье, и гордость. Всему поколению лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству».

Так думал в первые часы войны Глеб Нержин, герой повести «Люби революцию». Он отчаянно жалел, что не родился раньше, чтобы «это неповторимое семилетие противоречивых надежд, цветения и увядания, космических пыланий и умирающего скепсиса пропустить через свою грудь». Он знал, что живёт в лучшей из стран, которая уже миновала все кризисы истории и строит своё будущее на началах разума и справедливости.

«Эх, если б я задержался в Ростове на пару дней! Я не поехал бы в Москву», — писал Саня Солженицын домой в первые часы войны (и отмечал точное время: 22 июня, 17.45). Ожидая объявления о всеобщей мобилизации и срочного вызова из военкомата, он объяснял маме и жене, насколько важно немедленно ослабить молниеносность войны и перехватить немецкую инициативу. «Не робейте — Гитлер на этом деле должен накрыться» (22 июня, 14.30).

...Резко ограничив свободу желаний и возможностей, война явилась Солженицыну неотвязным сюжетом —

Фото: www.mdf.ru/exhibions/today

трёхдневной дорогой из Москвы в Ростов, среди мобилизованных, военными маршами днём, патрулями и светомаскировкой по ночам, а также тем, как он осаждал свой военкомат, требуя немедленной отправки на передовую.

Но — *таких* призывников не брали. Пока. «К концу пятого курса, весной, на призывном военкоматском осмотре хирург остановился на ненормальности, которой Глеб и значения не придавал, хотя ещё в школьные годы мешала в футболе; задержался, покачал головой: «Это может быстро переродиться в опасную опухоль», — и вписал в карточку: «в мирное время — не годен, в военное — нестроевая служба». Аномалия в паху, грозившая последствиями, была записана в призывное свидетельство — так что в военкомате с ним не стали и разговаривать.

Всех однокурсников-выпускников... уже забрали на разные офицерские курсы при академиях РККА, а Саня все летние месяцы ощущал, как постыдно быть провожальщиком друзей, хотя все вокруг знали, как он бился за право присоединиться к тем счастливчикам, кто уже достиг главных рубежей Революционной войны. Мгновенная военная катастрофа отозвалась в нём страшной горечью, и он «всё ещё верил, но уже начинал и не верить, что созданная Лениным с такими жертвами впервые в истории социалистическая система выдержит удар бронированных германских армий».

...Меж тем близился учебный год, и, хотя на фронте сталкивались огромные армии, падали и гибли города, военкомат продолжал твердить юноше одно и то же: «Ждите, когда вы будете нужны, родина вас позовёт». Наташа по распределению облоно уже уехала учительницей химии в школу районного городка Морозовска (200 километров от Ростова), там нужен был и математик.

...Учитель Солженицын составлял планы на полгода вперёд, старательно вёл уроки, увлекал детей астрономической экзотикой, в начале октября выезжал с ними в колхоз на неделю — ломать подсолнух, но мыслями был далёк и от небесных светил, и от сбора урожая. Зачем жить, если будет уничтожено самое светлое в истории человечества? Как жить, видя крушение огромного государства? Уже пали Днепропетровск и Киев, сдана Полтава, дотла спалён Чернигов, обложен Ленинград. Закипало чувство: он не покорится, он отыщет на земле такое место, где соберутся воедино осколки разбитого вдребезги красного материка, чтобы «словом и оружием помочь восстановлению ленинского огня, очищенного от смрада тридцатых годов». Так размышляет Глеб Нержин, так чувствует и Вася Зотов. «Уцелеть для себя — не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребёнка — и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы ещё был жив, — он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай, или Индию, или за океан — но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу».

...Долгожданный вызов судьбы был получен 16 октября, через четыре месяца после начала войны, и оказался повесткой на обёрточной бумаге с расплывшимися чернилами. К пяти часам утра 18-го Солженицыну надлежало явиться в райвоенкомат с военным билетом, паспортом, кружкой, ложкой и сменой белья. Номера «Красной звезды» на столе чернели гневными заголовками статей Эренбурга и заражали страстью войны. «Глеб пришёл в своё лучшее состояние, когда мог — всё». «Жизнь моя только с этого дня и началась», — напишет Саня через много лет.

...Первые шаги Солженицына по дорогам войны обнаружили, что представление о мобилизации он имеет не просто смутное, но в корне превратное. Ему легче было увидеть счастливое предзнаменование в карте звёздного неба («Орион

запрокинулся к Западу, а стрела трёх звёзд его пояса неслась на Сириус, как раз в сторо-не военкомата»), чем представить себе, как происходит отправка на фронт и как призыв-ник попадает в артиллерию. В сутолоке и суе-те сборов никому не было дела до универси-тетского диплома (Саня предусмотрительно взял его с собой), до его математической спе-циальности, — вообще до него лично. Впер-вые он оказался в общем людском потоке, и его жизнь управлялась непонятно как и не-известно кем, а сам он не только не был твор-цом собственной судьбы, как доселе уверенно полагал, но не мог повлиять даже на самый её краешек. Единственный из всей толпы, он ис-кал немедленного решения своей участи, пы-тался пробиться в разные кабинеты (немедлен-но был изгнан из всех), пробовал сделать «за-явление» о своём артиллерийском призва-нии — и был оборван матерной руганью, ужасно страдая, что драгоценные минуты ухо-дят и время непоправимо упускается.

...Тысячи призванных в эти дни мужиков, не зная секретных распоряжений, поняли, что пахнет жареным, и приняли действительность с мрачной покорностью, заботясь лишь о на-сущном и неизбежном, без истерических су-дорог и нетерпеливого зуда — менять судьбу и спасать Революцию. А учитель в потёртой шубе, который рвался отстоять ленинизм, чувствовал себя выкинутым из жизни. Пото-мок крестьян с Дона и Кубани, он был раз-балован городской жизнью: однажды подсоб-лял дяде Феде Горину, когда тот строил са-рай, а школьниками на сельхозработах они только маялись, а не работали. Он не имел ни малейшего представления, как подойти к лошади: и с этим вот знаком отличия судь-ба, будто в насмешку, распорядилась опреде-лить его, вместо артиллерии, в гужтранспорт-ный батальон. И теперь надо было гнать прочь вольные мысли о боевых расчётах, где бы пригодился его блестящий математический дар, и научиться отличать одну лошадиную морду от другой.

...Учитель не узнавал, да никогда и не знал местность, по которой ехал обоз; не мог вспом-нить ни одного города здесь, ни одной реки — ни Чира, ни Бузулука. Ему чужда была мужи-чья забота о лошадях — больше, чем о себе; было непонятно, почему так часто надо поить животных и обязательно всякий раз их разнуздывать, и вообще — что это за ненормальная скотина, которая хочет пить в холод и слякоть. Саня удивлялся, как это другие умели в табуне сразу за-метить своих коней, и смотрел на них как на слюнявомордый символ крушения артиллерийских надежд. Он был беспо-мощен перед этой стихией жизни с её простыми, как в седой древности, забо-тами. После занятий латынью и англий-ским, увлечения театром и художествен-ным словом он очутился на самом дне, в положении бесправном и угнетённом, ничего не умея, нигде не пригождаясь, чуждый и обозникам, и лошадям.

...Решение обучиться всему, что необхо-димо на этом участке судьбы и войны (ноябрь-декабрь 1941-го, хутор Дурнов-ский, хлев при молочно-товарной ферме, обозный взвод), стало спасительным для Солженицына. Осмысленным было и смирение перед тяжёлой, грязной ра-ботой, которая валилась на него и по общей гужевой участи (возить лошадям колхозную солому с поля, махать вила-ми целый день на морозе и ветру), и по бесчисленным нарядам на уборку ко-нюшни от навоза. Но смиряться при-шлось и с кочевой жизнью, ночлегами в случайных местах без бани и стирки, со вшами и нестерпимым зудом во всём теле, с ощущением постыдного нахлеб-ничества (кормили постояльцев хозяева избы), даже со снами, в которых являл-ся всё тот же неистребимый навоз.

...Постепенно из затюканного недотёпы, сражавшегося с навозом, образо-вался взводный политинформатор, умевший самостоятельно раздобыть и грамотно разъяснить сводки с фрон-та, подробно ответить на вопросы, до-казательно опровергнуть вздорные слу-хи. В 1963 году бывший сослуживец-обозник А. Гриднев писал Солженицы-ну: «Вы рано утром отправлялись слушать по телефону радио, а затем очень хорошо рассказывали нам поло-жение на фронтах. Я помню, как вы

на своём «Атласе мира» отмечали освобождение населённых пунктов нашими войсками». Сначала он делал это от случая к случаю, по личной инициативе, потом — регулярно, уже имея официальное задание от прибывшего во взвод «настоящего» офицера, одессита Давида Исаевича Бранта, сразу выказавшего симпатию и покровительство грамотному, образованному солдату.

...Ранним и ещё холодным утром 8 апреля 1942 года Солженицын сошёл с паровозной сплотки на малолюдной станции Семёнов. Он был у цели, в получасе ходьбы от артиллерии и курсов командиров батарей... «Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведённым животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя, может быть, и недостойным», — писал Солженицын четверть века спустя; но всё же он продержался эти полгода, не скис и не сдался. Он научился видеть себя со стороны, глазами необразованного мужика с Дона, и сделал необходимые выводы. Он разглядел за серой массой обозников живые характеры, запомнил и цепким писательским взглядом ухватил и ничтожного революционера из-под Воронежа, и добрейшего сослуживца-сибиряка, и колоритного одессита, первого своего благодетеля на пути в артиллерию.

Солженицын-солдат выдержал экзамен на тяжёлый однообразный труд и — на свою человеческую состоятельность, доказав товарищам по лошадиному взводу, что высшее образование даже и на фоне конюшни имеет не смешную, а практическую, полезную сторону. *Ни навоз, ни обозная наука не отняли* у молодого учителя способности писать романтические письма и сочинять лирические стихотворения... Он не смирился с безопасной службой в глубоком тылу, хотя всегда мог бы оправдать её серьёзным диагнозом своего призывного свидетельства и правилами военного времени о мобилизации ограниченно годных.

...До войны обучение в артиллерийском училище длилось три года. Теперь здесь учили краткосрочно — кого полгода, кого восемь-девять месяцев, и называлось это *курсами при училище*, хотя всё равно при выпуске курсантам (за редким исключением) присваивалось лейтенантское звание, заветные две звёздочки. Солженицын появился в училище с трёхмесячным опозданием и пробыл в Костроме чуть более полугода. Но при его математической подготовке все дисциплины, связанные с расчётами, давались легко; также легко удалось овладеть материальной и инструментальной частью, навыками звуковой разведки. На полевых учениях отрабатывали боевую стрельбу, курс рассыпали по местности, «огневики» стреляли, «звуковики» засекали звуки, по которым должны были определить пункты нахождения огневой точки и давать правильные ориентиры «огневикам».

...Всем, кто знал Солженицына-курсанта, запомнились его пунктуальность, собранность, сосредоточенность, а также то, как в свободные часы он рвался в библиотеку училища, как, совершенствуя свой немецкий, успевал между двумя строевыми командами заглянуть в карманный словарик. Он был уверен — *время войны нельзя терять для самообразования*.

...В конце июня 1942 года курсант Солженицын прослышал, что его могут оставить в училище преподавателем звукометрии или командиром взвода. Несомненно, это выглядело заманчиво: любимая артиллерия, тем более артразведка, счастливым образом сочеталась с преподавательским занятием (а он ещё в Морозовске понял, как любит преподавать). И опять же: останься он в Костроме обучать курсантов наинужнейшей армейской специальности, никто никогда не упрекнул бы его — государству во время войны и впрямь виднее, где нужен тот или иной офицер. Но Солженицын, уже год добиваясь отправки на фронт, никогда не простил бы себе малодушного решения и презирал себя за то, что

мысленно (только мысленно!) допускал «мещанский» вариант, обеспечивавший ему и его жене (немедленно бы вызванной сюда) квартиру в Костроме, хорошее снабжение, покой и уют.

...8 сентября курсант Солженицын написал решительное, отчаянное письмо майору Савельеву: «Мой родной город Ростов захвачен немцами; дом, в котором я жил, сгорел; университет, в котором я провёл лучшие годы, разрушен; мать моя осталась в руках у немцев; жена неизвестно где... Отпустите меня на фронт, где будут по-настоящему полезны мои знания и моя ненависть». Ещё через три недели, в конце сентября, он признался дневнику: «Пока на территории Сталинграда наши войска продолжают сопротивление, — до тех пор основные ударные силы гитлеровской армии скованы и не могут двигаться на Саратов, на Москву. Знаю, что на фронте придётся очень тяжело, что оттуда не раз захочется вырваться в безопасность тыла, ибо я не так уж храбр и очень беспокоюсь за свою будущую жизнь, — и, несмотря на это, одно желание: на фронт!»

...2 ноября 1942 года курсантам зачитали приказ о выпуске, и в тот же день лейтенант Солженицын *писал жене уже с вокзала:* «Частично уже обмундировался, частично дообмундируюсь завтра... Безумно рад, что меня не оставляют в Костроме».

...Свою жизнь в Саранске в ноябре 1942-го Солженицын называл малозаботной и сетовал, что она течёт слишком ровно для армии и войны, что резервное существование баюкает и развращает. Он старался заниматься после отбоя и просиживал до второго часа ночи, закрывшись в ленинской комнате; запретил себе ходить в кино и на концерты в клуб полка, зато начал сочинять свой первый военный рассказ («Лейтенант») — о ноябрьских событиях в Ростове.

...В 20-х числах ноября началось долгожданное наступление под Сталинградом, и можно было надеяться, что вскоре фронт переместится поближе к Ростовской области. 29 ноября, в годовщину первого освобождения Ростова, Солженицын сделал, наконец, доклад на офицерском семинаре. Дебют удался, его слушали с напряжённым вниманием даже самые сонливые полковые офицеры. Да и материал был собран впечатляющий: театр боевых действий и стратегическое значение Ростова, оперативная обстановка и оценка сил противника, танковая доктрина немцев и её крушение, качество обороны и удары наших частей, трудности битвы и её итоги; фрагменты военных карт и схемы расположения сил. Докладчик был горд, что первая фронтовая наступательная операция в Отечественной войне, где Красная армия победила с меньшими силами отборные танковые части врага, была связана с его родным городом. Ростов стал первым крупным населённым пунктом, который немцы отдали за два с лишним года. Германии был нанесён ощутимый моральный удар — и докладчик с воодушевлением цитировал оценки ростовской операции международной печатью и жалкие оправдания Геббельса.

С этого дня ораторские способности лейтенанта Солженицына усиленно эксплуатировали, и он даже тяготился эффектом своих публичных речей. Политруки полка «сложили ручки и валят всё на меня — доклад, беседа, выступление». Зато лейтенант мог отпроситься из военного городка на целый день в городскую библиотеку. Так, готовясь 5 декабря к докладу о конституции, он буквально проглотил новеллы Мериме, а также Эренбурга, третью часть «Падения Парижа».

Резервное благодушие тем же вечером и окончилось — пока докладчик сидел в читальне, произошло назначение командиров-резервистов в новые части. Дивизион АИР (артиллерийская инструментальная разведка) состоял из одной большой батареи звуковой, одной топографической и одной световой. Лейтенант Солженицын получил должность заместителя командира звуковой батареи и, хотя не имел ни на йоту

военного тщеславия и был готов к любому повороту событий, должности (которая была больше, чем командование взводом), искренне обрадовался.

...В должности замкомбата Солженицын пробыл всего две недели: большую звуковую батарею приказано было разбить на две части, и ему предложили стать командиром одной из двух разделившихся батарей. По своей всегдашней привычке выполнять программу-максимум он немедленно согласился, хотя понимал, что придётся проститься с читальнями, иностранными языками, учебниками по литературе. Но воевать так воевать! Судьба многих десятков людей теперь зависела от него, не давая ни минуты покоя, не оставляя ни часа свободного времени.

Комбат Солженицын быстро вошёл во все сложные хлопоты новой должности и быстро изменился сам — стал решительнее, энергичнее, самостоятельнее... Унылый провожальщик друзей, школьный учитель, по медицинским показаниям не взятый на фронт в первые месяцы войны, неумёха-обозник инвалидной команды превратился в лихого комбата артразведки, который во всеоружии военной науки готов был встретить главные сражения своей эпохи. Он не пропустил решающих часов Истории, и с этой точки зрения армейский путь представителя славного поколения ровесников революции выглядел безупречно.

Но пройдёт всего семь лет — и взгляд Солженицына (уже бесправного, угнетённого зэка) на своё военное прошлое кардинально изменится. Он посмотрит на результат преображения солдата в офицера с такой стороны, с какой никогда не смотрит даже и самый строгий военный трибунал. Он предъявит себе такие обвинения, которых никогда и никому не предъявляют ни судебные инстанции, ни общественные организации. Бывший комбат подвергнет своё поведение на войне — и даже сам офицерский статус — радикальному суду совести и суровому нравственному порицанию. Он не забудет и не упустит ни один неловкий эпизод своего командирства; откопает каждую мелочь, которая входила в противоречие с правилами деликатности, душевной тонкости; и дойдёт в раскаянии до последней черты, не прощая себе даже малого промаха и не пользуясь удобной поговоркой — *a la guerre comme a la guerre*. Писатель не унизится до самозащиты, к которой приучала революционно-демократическая критика, — хорошего человека заела дурная среда. Приговор своему времени он начнёт не с обстоятельств, а с себя.

Но именно эта способность — по-гамлетовски *повернуть глаза зрачками в душу*, по-достоевски *искать не в селе, а в себе* — сделает его крупнейшим писателем современности и даст силы выстоять на всех путях. Не подробности саморазоблачений (легкодоступный компромат, таскание чужими руками каштанов из огня), а сам *факт покаянных признаний* станет важнейшей вехой биографии Солженицына: ведь покаяться — значит что-то изменить в себе. Признания эти, помещённые не в приватном письме или случайном интервью, а в составе главных произведений, которых не минует ни один читатель, — биографические документы высшего разряда. **НО**